

EXCLUSIVE PROSE

Читайте книги Андрея Убогого:

- Моя хирургия. Истории из операционной и не только
- Красная зона. История врача
- Ради радости
- **Дом, дорога, река**
- Сестра луны

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ДОМ, ДОРОГА, РЕКА

ФЛОБЕРИУМ / RUGRAM

УДК 82-31
ББК 84(4Рос=Рус)6-44
У17

Издание подготовлено при содействии
Литературного агентства и школы «Флоберיום»



Миссия «Флобериума» — открывать звезды и дарить их людям,
чтобы жизнь стала ярче

Убогий, А.

У17 Дом, дорога, река / А. Убогий. — М.: Флоберיום / RU-
GRAM, 2024. — 550с. — (Exclusive Prose).

«Дом, дорога, река» — не просто ласкающий глаз
визуальный образ. Это ещё и контур человеческой жизни: все
мы рождаемся и растём в доме, затем выбираем свои дороги —
и, проходя их, движемся в потоке судьбы...

Андрей Убогий

BIC FA
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-517-11491-4

© А. Убогий, текст, 2024
© А. Кудрявцев, дизайн обложки, 2024
© В. Арепьев, иллюстрация, 2024
© ООО «Флоберיום», 2024
© RUGRAM, 2024

НАЧАЛО, ИЛИ SCRIBO ERGO SUM

Порой меня спрашивают, да и я сам спрашиваю себя: а зачем я пишу? Все попытки ответить в житейски-обыденном плане, как мы отвечаем на большинство возникающих перед нами вопросов, будут неубедительны, а то и попросту лживы. Ну, в самом деле, не из-за денег же я перепортил за тридцать пять лет целую гору бумаги и потратил на это так много сил, нервов и времени? «Литературных» денег — если какие-то крохи время от времени и перепадали, хватало разве на скромные посиделки с друзьями.

Так, может быть, я писал и пишу ради славы? В двадцать лет я, возможно, и поколебался бы, отвечая на этот вопрос: что таить, честолюбие свойственно юности. Но годы шли, книг, написанных мною, всё прибавлялось, однако ни с чем, хотя бы отдалённо похожим на славу в обычном её понимании, я так и не встретился, ограничившись, как говорится, широкой известностью в узких кругах.

Но писать, тем не менее, я продолжаю — зачем? Если это нелёгкое дело не приносит ни денег, ни славы, забирая при этом большую часть жизни, то какая нужда или сила заставляет меня почти каждое утро садиться к столу, чтобы начать день с написанных и зачёркнутых строчек? Этот вопрос стоит предо мною вот уже тридцать пять лет, и я ныне так же мало способен дать внятный ответ на него, как и в дни своей юности. Но и оставить его без попытки ответа я не могу: это было бы бегством от самого же себя.

И вот я подумал: если прямой и короткий ответ невозможен, то не пойти ли окольным путём? Не попытаться ли вспомнить о том, как я начал писать, о том, что я чувствовал и сознавал в те далёкие годы, чтоб из рассказа о собственном литературном начале, возможно, увидеть, что заставляло меня брать в руки перо и выводить на бумаге слова.

Вспоминаются сумерки. Отчего-то начало моей самостоятельной жизни — с тех самых пор, как я покинул родительский дом и поселился в общежитии медицинского института, — было именно сумрачным, погружённым в невнятную смесь тьмы и света, яви и сна, бытия — как сказал бы философ — и небытия. Сумрачны были и пробуждения в комнате номер двенадцать — холодной и гулкой, с высокими потолками и серыми наледями на подоконнике, — сонно-угрюмыми были студенты, бредущие утром по сумрачным коридорам общаги, сумрачны были ноябрьские серые улицы города, по которым тянул непрерывный и злой пыльный ветер, сумрачны были залы анатомички, где на стенах висели портреты суровых великих анатомов, а в углу стоял желтоватый — тоже не очень весёлый —

скелет, сумрачен был, наконец, формалином пропитанный труп, что лежал на столе посередине учебной комнаты. Вообще, весь тот мир, в котором я жил в те давнишние годы (а уже началось и стремительно таяло последнее десятилетие советской эпохи), был, как я вспоминаю сейчас, окутан именно сумерками. Что ни возьми — вокзалы и улицы, обстановку столовых или пивных, коридоры различных контор, одежду людей или их, людей, лица, — всё было серым и пыльным, изношенным и малоокровным.

Да и у меня самого, шестнадцатилетнего юноши, не сказать чтобы было светло на душе. И вот как о предметах, погружённых в сумерки, трудно понять, возникают они из потёмков или, напротив, растворяются в загустевающей тьме (всё зависит от времени суток), так же и про себя самого я не мог точно сказать, исчезаю я или рождаюсь. Растворяюсь ли я в этой сложной, густой, разьедающей смеси под названием «общая жизнь» или, напротив, пытаюсь как-то выделиться из неё, нащупать то зыбкое и неуловимое, но при этом мучительно необходимое мне, что называлось «я сам»? Можно сказать, тот конфликт, под знаком которого проходил весь трагический русский двадцатый век — конфликт личности и коллектива, — он разрывал моё юное сердце и мою неокрепшую душу. С одной стороны, я хотел верить тому, во что предлагалось и полагалось поверить, то есть в безусловную правоту коллектива и истину «общего дела», но, с другой стороны, сердце чувало в этом некий подвох и подмену и всячески сопротивлялось тому, чтобы раствориться, всецело и без остатка, в сумерках коллективного существования.

Не из этой ли непрерывной и тяжкой борьбы — борьбы с собою самим за себя самого — и появилось во мне это странное и полусознанное желание — взять лист бумаги и что-то на нём написать? Причём написать не то, что требовалось от меня как студента — конспект, скажем, лекции или выдержку из учебника, — а написать то, что хотел бы и мог написать только я сам (хоть я толком и не понимал, кто такой этот «я», что он хочет и что ему нужно). Так беременным женщинам порою чего-то мучительно недостаёт, и они, в бессознательных поисках этого «недостающего», начинают есть землю или куски известковой побелки. Я, в сущности, тоже тогда был беременным, но собою самим, то есть собственной личностью, пусть пока неоформленно-слабой, но уже ощущавшей глубинный, мучительный долг стать собой, сказать своё слово...

Но это сейчас я пытаюсь облечь то, что происходило со мной, в форму более-менее внятных мыслей и фраз; тогда же, в юности, это выглядело просто комично. Я шёл в читальный зал студенческой библиотеки — она называлась «Аквариум» из-за круглых, как корабельные иллюминаторы, окон, — усаживался за пустующий стол, клал перед собою раскрытый учебник или анатомический атлас, а рядом с этим учебником, как бы в его тени, пристраивал лист бумаги, на котором и пробовал написать это самое «нечто своё».

Вы спросите: что это было — «нечто своё»? И почему я так опасался, что кто-то, не дай бог, заметит, чем я занимаюсь? Если ко мне приближался знакомый, я тут же совал свой листок под учебник и делал вид, что учу анатомию, то есть занимаюсь законным, дозволенным делом. А если случалось, что мой злопо-

лучный листок замечали и небрежно спрашивали: «Конспектируешь?», то я поспешно кивал: «Конспектирую...»

Чего я стыдился? Но я чувствовал: то, чем я сейчас занимаюсь, есть дело настолько интимное, что мне легче пройтись по читальному залу в чём мать родила, нежели взять и прилюдно признаться, что я — страшно вымолвить! — сочиняю рассказ...

А иногда мне казалось, что я, наклоняясь над бу-
мажным листком или пряча его под учебник, засло-
няю рукопись не только от глаз однокурсников, но
прячу и от сурового взора общаги, чьи пять этажей тя-
жело громоздятся буквально за моею спиной. Да, об-
щезитие наше стояло впритык к библиотеке, и от неё,
от общаги, было куда трудней утаить, что один из её
питомцев затеял, по сути, измену: он пошёл своим
собственным, независимым и одиноким путём.

Но стыд и смутное осознание того, что я дезерти-
рую из рядов общей жизни — потому что чувствую
зов куда более глубинного и изначального долга, — это
всё было ничто по сравнению с ужасом собственной
немоты, с невозможностью выразить то, что ты хо-
чешь и должен сказать. Я ведь не только не знал, к а
к сказать то, что нужно, но я не знал, ч т о же именно
я должен сказать? Это было как в той сказке — «пойди
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что», — это
было задачей, которую я был обязан исполнить, ещё
даже не зная, в чём именно она состоит. Но задание,
которое и само возникает в процессе своего выполне-
ния, это и есть сущность творчества — сотворенье не-
бывшего, или «прирост бытия», по выражению Ни-
колая Бердяева.

Правда, о Бердяеве мы тогда и слыхом не слыхивали: идеология общего существования на дух не переносила это свободолобтивное имя. Мучиться собственной немотой приходилось, как всякому пишущему, в одиночку, и, как всякому пишущему, приходилось испытывать тот самый «страх перед чистой страницей», который — в своей глубине — есть ужас сознания того, что ты, уже вроде бы и присутствуя в мире, ещё как бы не существуешь, ещё не доказал своей принадлежности к полноценному бытию.

О чём я пытался писать, изнывая, под сумрачным взором общаги, от одиночества и немоты? Поначалу это были записи о тех состояниях жизни, в которых мне чудилось нечто, прорывавшее саму ткань реальности — обветшалую, пыльную, сильно побитую временем ткань — и выводившее душу туда, где было больше свободы и радости. Я пытался писать то о джазовой музыке — об отважной и обречённой атаке трубы, о лоснящихся потом щеках трубача, о блуждающих синкопах, словно ищущих выход из плена реальности, — то о снегопаде в морозный и солнечный день, когда снежные иглы, искрясь, возникают из синего воздуха и плывут в лучах низкого солнца, оседая — ну, как же без этого! — на ресницах какой-нибудь девушки, чьи глаза влажно мерцают, а каблучки оглушительно-резко скрипят по морозному снегу... Или писал, например, как огни семафоров отражаются в переплетениях рельсов — я любил вечерами ходить на вокзал и смотреть, с переходных мостков на пути, тепловозы, вагоны, пакгаузы, стрелки, — как весь этот железнодорожный чугун горячо дышит угольной гарью и креозотом и как в душе человека, который всё это видит и чув-